

Яков Гордин

Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе
Иосифа Бродского

Серия «Диалог»

Книга Якова Гордина объединяет воспоминания и эссе об Иосифе Бродском, написанные за последние двадцать лет. Первый вариант воспоминаний, посвященный аресту, суду и ссылке, опубликованный при жизни поэта и с его согласия в 1989 году, был им одобрен.

Предлагаемый читателю вариант охватывает период с 1957 года — момента знакомства автора с Бродским — и до середины 1990-х годов. Эссе посвящены как анализу жизненных установок поэта, так и расшифровке многослойного смысла его стихов и пьес, его взаимоотношений с фундаментальными человеческими представлениями о мире, в частности его настойчивым попыткам построить поэтическую утопию, противостоящую трагедии смерти.

ЯКОВ ГОРДИН

рыцарь и смерть,

или Жизнь как замысел

О судьбе Иосифа Бродского



В культуре, как и в пещере пустынника, человек соучаствует в космической брани. Его призвание трагично и нет ничего противнее трагическому жизнеощущению, как сомнение, раздумье, элегическая резиньяция. Сквозь хаос, обступивший нас и встающий внутри нас, пронесем нерасплесканным героическое — да: Богу, миру, людям.

Георгий Федотов

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Иосиф Бродский

ОТ АВТОРА

Предлагаемая читателю книга — попытка воссоздать, прежде всего для себя, облик Бродского — поэта и человека в их органическом единстве. Это попытка понять жизненную стратегию Бродского, определившую резкую особенность его судьбы.

Тексты, собранные под этой обложкой, были написаны на протяжении двадцати лет — как при жизни героя, так и после его ухода.

Существует такое понятие — ответственность осведомленности. Именно это чувство и заставляло меня каждый раз браться за работу. Особенно это относится к первой части книги, которую условно можно назвать мемуарной.

Как известно, ситуация с написанием биографии Бродского и воспоминаний о нем существенно осложнена его собственной позицией.

В 1994 году, составив завещание, он приложил к нему письма, в котором говорил:

«Просьба к моим друзьям и родным не сотрудничать с издателями неавторизованных биографий, биографических исследований, дневников и писем».

В частных письмах он высказывался еще категоричнее:

«Жизнь мою, то есть физическое существование моей личности, я просил бы и Вас, и всех тех, кто интересуется моим творчеством оставить в покое».

Или еще определеннее:

«Я не возражаю против филологических штудий, связанных с моими худ. произведениями — они, что называется, достояние публики. Но моя жизнь, мое физическое состояние, с Божьей помощью принадлежала и принадлежит только мне... Что мне представляется самым дурным в этой затее, это — то, сто подобные сочинения служат той же самой цели, что и события в них описываемые: что они низводят литературу до уровня политической реальности. Вольно или невольно (надеюсь, что невольно) Вы упрощаете для читателя представление о моей милости. Вы — уже простите за резкость тона — грабите читателя

(как, впрочем, и автора). А, — скажет французик из Бордо, — все понятно. Диссидент. За это ему Нобеля и дали эти шведы-антисоветчики. И “Стихотворения” покупать не станет... Мне не себя, мне его жалко».

Собственно, в последнем пассаже основная разгадка жесткой позиции Бродского. Он боялся, что мир поэтический будет подменяться миром политическим. «Я отказываюсь это драматизировать!» — раздраженно ответил он на вопрос Соломона Волкова о суде и ссылке. Он не желал, чтобы сложилось впечатление, будто его колоссальная духовная работа определялась чисто внешними обстоятельствами.

Был и еще один внятный повод для тяжелых опасений — он смертельно боялся вторжения в его личную жизнь. Он смертельно боялся, что высокая драма его бытия будет снижена до уровня пошлого быта.

Он не хотел, чтобы его противостояние несправедливости мироустройства сводилось к противостоянию власти, которую он презирал.

Думаю, он догадывался о невозможности закрыть от поколений читателей свою «физическую жизнь», но пытался минимизировать возможный ущерб.

Сам он в многочисленных интервью, автобиографических эссе, беседах с Соломоном Волковым выстраивал свою версию собственной жизни. Я пишу об этом в эссе «Версия прошлого». При этом он не мог не понимать, что дает будущим биографам обильный материал.

Этот страх перед теми, кто будет кроить его жизнь по своим лекалам, усилился именно в последние годы. Когда в 1989 году я написал и опубликовал очерк «История одной расправы» — о травле и суде, — и послал Бродскому, он отнесся к этому вполне благосклонно.

Надо понимать — случилось бы то, что случилось в 1963–1965 годах, или не случилось, он стал бы поэтом именно того масштаба. Каким он и стал. Разумеется, характер его творческой работы второй половины жизни был бы иным, но его одаренность никуда бы не делась.

Надо помнить, что к моменту ареста и ссылки он был уже автором «Шествия», «Рождественского романса», «Холмов», «Большой элегии Джону Донну», «Исаака и Авраама», «Столетней войны», и многого другого. Он был сложившимся большим поэтом.

В данной же книге я и стараюсь прежде всего показать, что имманентно присущие его личности свойства давали ему

возможность существовать не просто вопреки, но поверх враждебной реальности и внутренне не зависеть от обстоятельств. Сочетание личных воспоминаний, призванных дать представление об уникальности природы Бродского, с эссеистикой, анализирующей некоторые из ведущих его идей, надеюсь, в какой-то степени решают эту задачу.

Появление как биографических штудий, так и воспоминаний, посвященных Бродскому, неизбежно, вне зависимости от его позиции. Вопрос в качестве этих штудий и корректности воспоминаний.

Образцом биографии, на мой взгляд, стала книга нашего с Бродским покойного друга Льва Лосева, изданная в ЖЗЛ.

Опасения Бродского печально подтвердились. Его «физическое существование» оказалось достоянием фантазий — как безобидных, так и отвратительных, равно как и мишенью беспардонной клеветы. И было бы непорядочно, если бы те, кто искренне любил его при жизни и остался верен ему после его ухода, скрывали свое знание. Не вторгаясь, естественно, в те области, которые он сам считал запретными. Это тем более необходимо, что людей подобного толка становится все меньше.

Ответственность осведомленности.

Автор и издательство благодарят Фонд Наследственного Имущества Иосифа Бродского за разрешение на публикацию фрагментов не публиковавшихся стихотворений.

I
ЖИЗНЬ КАК ЗАМЫСЕЛ

ГИБЕЛЬ ХОРА

Независимость — лучшее качество, лучшее слово на всех языках.

И. Бродский. Из письма автору. 1965

В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор.

И. Бродский. Нобелевская лекция

Если начинать с самого начала, то мы с Иосифом Бродским познакомились в 1957 году. Я недавно демобилизовался и поступил в университет (откуда, впрочем, ушел с четвертого, уже заочного, курса). Иосиф же, который был моложе меня на пять лет, проходил другие университеты. Окончив семилетку, он работал на заводе, потом кочегаром в котельной (в отличие от более поздних времен, это была настоящая кочегарская работа), санитаром в морге, коллектором в геологических экспедициях.

История с уходом Иосифа из школы многократно описана и им самим, и другими в той или иной степени знавшими его людьми. Этот эпизод стал, так сказать, каноническим.

Между тем далеко не все тут ясно. Одноклассница Иосифа Инна Турина, живущая ныне в Америке, некоторое время назад прислала мне свои воспоминания, которые, несмотря на отдельные неточности, существенно корректируют наши представления о школьной эпопее.

«В 1948 году я попала в 1-й класс. Меня, так же как и Осю, часто перебрасывали из школы в школу. Училась я на Моховой, потом на Гагаринской (Фурманова), а потом опять на Моховой в школе № 191 по адресу Моховая, д. 26. Школа находилась в третьем дворе этого дома.

В эту школу в 9-й класс и пришел к нам Ося Бродский... Ося заметно отличался от остальных ребят. Он был высок, полноват и выглядел немного старше других, хотя из-за войны многие ребята начинали учиться с 8 лет и были Осиными ровесниками. Большинство мальчиков донашивали уродливую серую школьную форму, часто в заплатках. Ося же был одет хорошо, аккуратно. Как у многих рыжих, цвет лица у него был здоровый, розовый, кожа чистая, и это тоже отличало его от нас остальных — бледных и худощих.

Ося проучился весь год в 9-м классе, сдавал экзамены, а после окончания занятий поехал с ребятами в колхоз.

Я не смогла поехать из-за болезни. После колхоза Нора (Э. Ларионова) вернулась с сияющими глазами и сказала: “Жаль, что ты не могла поехать. Ося нам читал стихи”».

Воспоминания Инны Туриной заставляют по-иному взглянуть на школьную эпопею Бродского. Тот факт, что он учился с 1 сентября по 5 ноября 1955 года в 8 классе 289-й средней школы, засвидетельствован справкой директора школы. Сам Бродский неоднократно говорил о том, что он ушел из 8-го класса и поступил на завод. И факт его работы на заводе «Арсенал» задокументирован «Личной карточкой» отдела кадров. Там записано, что Бродский поступил на завод учеником фрезеровщика 11 апреля 1956 года, а 18 июля того же года стал фрезеровщиком 3-го разряда. И уволился 8 января 1957 года.

Но если Иосиф поступил на завод после 289-й школы, а больше в школе не учился, то совершенно непонятно, откуда взялись персонажи цикла «Школьная антология», учившиеся в 191-й школе. Личная карточка отвечает на этот вопрос. В графе «Место последней работы и занимаемая должность» записано: «Учащийся 191-й школы».

Таким образом, все становится на свои места. В своих интервью Иосиф несколько «спрямил» ход событий. Он не просто ушел из школы. Он, скорее всего, перешел из 289-й школы, находившейся на Нарвском проспекте — далеко от нового места жительства, в 191-ю, которая располагалась в нескольких минутах от Дома Мурузи — на Моховой улице. А уже оттуда ушел в апреле на завод. Справка от 25 августа 1956 года о выбытии его из школы для поступления на работу могла быть оформлена задним числом. Но могло быть и другое.

Иосиф упоминал в интервью, что некоторое время учился в вечерней школе. Поскольку герои «Школьной антологии» учились в дневных классах, то есть основания предположить, что в 191-й школе могли быть и вечерние классы и что Бродский, поступив учеником на завод, некоторое время учился вечерами. Тогда, как и утверждает Инна Турина, он мог сдать весенние экзамены. А что до колхоза, то, скорее всего, он просто навещал там своих вчерашних одноклассников и одноклассниц.

Инна Турина наверняка ошибается в одном — она сдвинула события на год. Бродский учился с персонажами «Школьной антологии» в 8-м классе. Это подтвердил в беседе со мной и соученик Туриной и Бродского — один из героев «Антологии» — Олег Поддобрый.

Обстоятельства нашего знакомства, опасаясь, останутся исторической загадкой. Когда, уже в 1990 году, мы в его деревенском доме в Массачусетсе пытались эти обстоятельства восстановить, то нам это не удалось. Смутно помнится, что это могло произойти в редакции газеты «Смена», ранней осенью.

В диалоге с Соломоном Волковым^[1] после фраз о нашем с ним знакомстве как одном из первых его литературных знакомств Иосиф сразу переходит к воспоминанию о чтении своих стихов в литобъединении «Смены». И это тоже некое полуосознанное указание.

Иосиф говорит, в частности:

«Руководили этим объединением, помнится, два несчастных человека. Это я вместо того, чтобы сказать “два больших мерзавца”».

В данном случае Иосиф — если воспользоваться бессмертной формулой Валерия Попова, — «суров, но несправедлив».

В «Смене» в том же пятьдесят седьмом году, летом, я познакомился с Сергеем Вольфом, которому вернули его рассказы, равно как и мне мои стихи.

В тот день Вольф долго читал мне стихи своих приятелей — запомнил я только Владимира Уфлянда...

У меня нет ни желания, ни права заниматься здесь мемуаристикой в полном смысле этого слова. Я претендую только на то, чтобы в необходимых пределах дать читателю представление о личности молодого Бродского, — без этого не обойтись. Главное же — уловить суть тогдашних событий. А читателя прошу воспринимать мой — не документальный — текст как комментарий свидетеля, волею обстоятельств стоявшего вплотную к этим событиям и даже пытавшегося принимать в этих событиях посильное участие.

Определяющей чертой Иосифа в те времена была совершенная естественность, органичность поведения. Смее утверждать, что он был самым свободным человеком среди нас — небольшого круга людей, связанных дружески и общественно, — людей далеко не рабской психологии. Ему был труден даже скромный бытовой конформизм. Он был — повторяю — естествен во всех своих проявлениях. К нему вполне применимы были известные слова Грибоедова: «Я как живу, так и пишу, — свободно и свободно».

Это свойство бытового поведения, создававшее, как всякому понятно, немалые трудности для самого Бродского и

для тех, кто окружал его (я могу писать об этом со спокойной душой, поскольку мы с Иосифом не поссорились ни разу), непосредственным образом связано было и с характером дарования Бродского. Но об этом несколько позже.

Второй, не менее важной его чертой тех лет кажется мне максимальная интенсивность проживания любой ситуации — как бытовой, так и интеллектуальной. Эта интенсивность проживания и восприятия — в совокупности с общей необычайной одаренностью — сделала Бродского к двадцати четырем годам по-настоящему образованным человеком, легко овладевавшим иностранными языками — самоучкой! — знатоком не только русской и советской, но и польской, и англоязычной поэзии. В то же время интенсивность эта и привлекала, и пугала окружающих. Уже тогда можно было услышать оценки его личности (даже от людей, высоко ценивших его дарование) вполне противоположные.

Свобода, в том числе и внутренняя, даром не дается. (Да простится мне эта необходимая банальность.)

Две эти черты заставляли Бродского вести себя, на взгляд многих, особенно людей скованного сознания — я уже не говорю о сознании охранительном, — совершенно дико, вне общепринятых правил игры.

В 1958 году Иосиф стал часто бывать на филфаке университета. Наш общий приятель Игорь Смирнов вспоминал:

«В 1958 году я учился на вечернем отделении ЛГУ. Я жил около Финляндского вокзала и зимой после работы на заводе добирался из дома до Университета на 47-м автобусе. Бродский жил в знаменитом доме Мурузи... Мне с ним было по пути... Трудясь, как и я, днем, Бродский посещал вечерами семинар по истории КПСС, который был для меня обязателен, а для него, вольного слушателя, просто интересен — чем именно, мне было поначалу просто непонятно. С руководительницей семинара он спорил о сталинском определении нации, все еще считавшемся непоколебленным. С изумлением я заметил, что доцентша не донесла на Бродского. Полемика с партийными догмами как раз перестала быть наказуемой. Бродский испытывал терпение дамы, которая несколькими годами раньше могла засадить его в лагерь. Другой причины для его приходов в этот семинар, не снабжавший нас никакими знаниями, я не вижу».

Но Иосиф бывал не только на семинаре по истории КПСС. Он сживал и на общих лекциях по западной и русской литературе. А марксизм его интересовал — как и многих из

нас, — по одной простой причине: хотелось понять — есть ли в нем, очищенном от советской шелухи, какое-либо рациональное зерно. Тем более, что читать некоторые, особенно ранние, работы Маркса было довольно увлекательно. А уж энгельсовский «Анти-Дюринг», чрезвычайно лихо написанный, подкупал остроумием и полемической яркостью.

С конца того же года у Иосифа появилась еще одна причина стать завсегдаем Филфака. В октябре мы вернулись с целины. Я, как прошедший армию и превосходивший многих своих однокашников, а тем более однокашниц, по возрасту, был бригадиром. По возвращении я познакомил Иосифа с девушками из своей бригады — Алей Друзиной и Олей Бродович. А через них он, естественно, свел знакомство и с их подругами.

Оле посвящена ранняя лирика Иосифа. С Алей Друзиной связан характерный для него эпизод.

Во время одного из интервью Иосифа спросили — кому посвящено одно из самых известных его ранних стихотворений «Стансы». Он ответил, что не помнит. По какой-то причине ему не хотелось называть имена, хотя ни Лену Валихан, ни Алю Друзину, адресата исполненного взволнованной нежности «Письма к А. Д.» он, разумеется, забыть не мог. Никаких романтических отношений с Алей у них не было, но он относился к ней именно с дружеской нежностью. Быть может, и потому, что с ней были связаны воспоминания о самых хороших для него российских временах: конце пятидесятых — начале шестидесятых годов — до начала травли: бурный успех у слушателей и читателей самиздата, новые яркие знакомства и дружбы, и не только дружбы — в частности, отношения с Олей Бродович, соученицей по университету и подругой Али. В июне 1978 года Ося оказался пролетом в Рейкьявике. Там же жила и Аля, вышедшая замуж за исландца — рослого, спокойного Халдора Вильямсона, очень симпатичного человека. Аля в это время находилась в роддоме после очередных родов — у нее четверо детей.

Она сохранила письмо Иосифа, свидетельствующее о неизменности его к ней отношения. Вот фрагмент из письма:

«Аля, милая, совершенно идиотская история вышла: этот Бергман, говоря — как я только теперь понял — про тебя, то ли перепутал, то ли перевернул твою фамилию. И, конечно же, я решил, что это кто-то другой. Никогда себе этого не прощу. Я бы просто в роддом пришел, прибежал бы. Пока вот тебе две книжечки. Авось

что-нибудь в них тебе понравится. Я все еще занимаюсь этим идиотским ремеслом, как видишь. Господи, как все дико: ведь почти двадцать лет. Целуем Вас нежно и как бы поздравляем с двойняшками. Твой Иосиф».

По отношению к тем, кого он любил, он мог быть трогателен и сентиментален.

Судя по названной им цифре — «почти двадцать лет» — он точно помнил время знакомства: ноябрь 1958 года.

Вернемся, однако, на двадцать лет назад.

Ему, жадному до всякого звания, было, конечно же, интересно на факультете. Но именно здесь произошло событие, впервые, я уверен, обратившее на Бродского внимание властей. И я был тому виной.

В конце 1958 года я делал на заседании студенческого научного общества доклад на тему «“Звериность” в поэзии двадцатых годов», на материале творчества Сельвинского и Луговского («Звериность — это цветение сил...» — И. Сельвинский). На заседание я пригласил Бродского. Неожиданно для меня восемнадцатилетний Иосиф бестрепетно выступил в прениях по докладу и начал свое выступление с цитаты из книги Троцкого «Литература и революция». Согласимся, что для пятьдесят восьмого года, когда имя Троцкого было под строжайшим запретом, а книга как бы не существовала, это был нетривиальный поступок. Причем я уверен, что Бродский вовсе не собирался кого-либо эпатировать, — просто он только что прочитал книгу и счел, что какой-то ее тезис важен для идущей дискуссии.

Надо было видеть, что сделалось с руководителем СНО профессором Наумовым. Я испугался, что Евгений Иванович умрет на месте. Его филиппику против Иосифа совершенно невозможно было понять, потому что от ужаса и ярости он постоянно путал фамилии Бродский и Троцкий.

После журнальной публикации этого очерка некоторые ученики Наумова сочли, что я зря обидел Евгения Ивановича, а один из них написал о своей обиде в «Ленинградской правде».

Разумеется, человек поворачивается в разных ситуациях разными сторонами своей натуры. И Евгений Иванович, очевидно, заботился о своих учениках. Хотя, убейте меня, не понимаю, чему мог он научить. Я тоже некоторое время посещал семинар, который он вел. И самое сильное мое впечатление — занятие, посвященное Пастернаку. Это было во время скандала с «Доктором Живаго», и Евгений Иванович клеймил Пастернака за его «всегдашнюю

аполитичность и равнодушие к судьбе страны». «Вы подумайте! — восклицал он чрезвычайно патетически. — Идет война, страна истекает кровью, а он пишет: “На столе стакан недопит”...» Придя домой, я проверил — стихи эти были написаны в 1936 году... Евгений Иванович был человеком начитанным. Он просто обманывал студентов, рассчитывая на их неосведомленность.

За одно я Евгению Ивановичу, однако, благодарен. Когда на исходе второго курса филфак мне изрядно надоел, а мой приятель, работавший в НИИ геологии Арктики, Боря Генин предложил мне поехать вместе с ним в экспедицию — там нужны были люди, — и я стал пытаться перенести весеннюю сессию на осень, наш завкафедрой Федор Александрович Абрамов отнесся к этой идее весьма скептически.

Но когда я обратился к Евгению Ивановичу, то он горячо и радостно меня поддержал, немедленно написал — он был болен и я пришел к нему домой, — письмо декану Игорю Петровичу Еремину, очевидно, столь убедительное (я передавал его в запечатанном конверте), что Еремин без возражений подписал мое прошение.

Полагаю, что когда Евгений Иванович услышал, куда я собираюсь, — а Биректинская экспедиция НИИГА работала тогда за Полярным кругом в Северной Якутии на Анабарском щите, — то у него появилась надежда, что я и не вернусь из этих Богом забытых мест и перестану осложнять ему жизнь...

Как бы то ни было, именно вмешательству Евгения Ивановича я обязан радикальной переменой своей судьбы, — вернувшись осенью, я перешел на заочное отделение, — и замечательными пятью годами работы на Севере...

Евгений Иванович, судя по всему, был не худшим среди тех, кто наводил порядок в нашей литературе в конце сороковых годов. Он не был фанатиком, он был циником. И большого размаха конъюнктурщиком. А еще Салтыков-Щедрин говаривал, что из фанатика и циника он всегда выберет циника. Так что по-своему мои оппоненты правы. Жаль мне только тех бедных студентов, которых профессор Наумов, обладая несомненными ораторскими способностями (при отсутствии, на мой взгляд, научных), духовно обирал, поднося им литературу в вульгарно-советском виде.

Надо, правда, в конкретном описанном случае учесть и его искренний ужас — во вверенном его попечению студенческом научном обществе звучала недопустимая крамола. Он обязан был реагировать...

Однако всех этих чисто советских резонов Иосиф не понимал и понять не мог (как, впрочем, и автор данного очерка в те времена). Это был не его мир. Он жил по иным правилам.

Уверен, что непримиримость ленинградских властей к Иосифу в начале шестидесятых годов вызвана была не столько его стихами, которые казались им малопонятными и не содержали никаких политических деклараций, сколько именно стилем его общественного поведения, основанным на свободе и органичности в весьма интенсивном варианте. Он не совершал, разумеется, никаких противоправных поступков (даже соседи по коммунальной квартире дали ему после ареста наилучшую характеристику), просто в условиях, скажем, резко ограниченной свободы он жил как свободный человек. А это пугает и раздражает^[2].

То же чувство свободы жило в его стихах. При всем желании в них невозможно было вычитать никакой антисоветской агитации — за исключением нескольких строк в «Шествии» (поэтому в шестьдесят четвертом году, как мы увидим, организаторам травли пришлось прибегнуть к грубой фальсификации), но духовные и административные отцы города явственно ощущали несовместимость со своим мировидением этих непривычных стихов, которые казались особенно опасными из-за личности автора. Позже Иосиф отчетливо обозначил этот неполитический аспект проблемы: «Поэт наживает себе неприятности ввиду своего лингвистического и, стало быть, психологического превосходства, а не по политическим причинам. Песнь есть форма лингвистического неповиновения».

Бродский с пятьдесят восьмого — пятьдесят девятого года много выступал публично, главным образом в студенческих аудиториях. Мне тогда не раз случалось выступать с ним или присутствовать на его выступлениях, и я могу засвидетельствовать — успех был неизменным и полным. Те черты его личности и поведения, о которых шла речь, реализовались в то время не только в тексте его стихов, но и в манере чтения. Она была неотразима и воздействовала на слушателей сильнейшим, подавляющим образом. (Хотя у Бродского тогда уже были противники, эту манеру высмеивающие.) Картавость, некоторая невнятность произношения, интонационное однообразие зачина забывались немедленно. Бродский мог достигнуть такой интонационной интенсивности, что слушателям становилось физически дурно — слишком силен оказывался напор.

Но суть была не в том. Чтение Бродским своих стихов было жизнью в стихе. Перед слушателями происходило уникальное и потрясающее явление — абсолютное слияние личности и результата творчества, казалось бы, уже отделившегося от этой личности. Происходил некий обратный процесс — стихи снова воссоединялись с поэтом. Это не было воспроизведение, исполнительство — пусть самое высокое. Это было именно проживание поэзии.

Интенсивность личности и соответствующая манера чтения Иосифа иногда определяла неприятие его стихов даже людьми широкими и понимающими, но ориентированными на иной стиль существования. 14 февраля 1960 года в ленинградском Дворце культуры имени А. М. Горького состоялся так называемый «турнир поэтов», довольно нелепое мероприятие, в котором, однако, приняли участие и А. Кушнер, и Г. Горбовский, и В. Соснора, и многие другие бурные и небурные гении того периода. Автор этих строк тоже выступал на данном ристалище (и даже разделил с кем-то второе место — первое не получил никто) и потому был умиленным свидетелем происходящего.

Иосиф прочитал стихотворение «Еврейское кладбище».

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
Для себя пели.

Для себя копили.
Для других умирали.
Но сначала платили налоги,
уважали пристава
и в этом мире, безвыходно
материальном, толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.

Могло понравиться, могло не понравиться, но я убежден — если б те же строки прочитал другой поэт, не было бы никакого скандала. А тут скандал начался немедленно и весьма неожиданным образом — по совершенно непонятной тогда для меня причине громко возмущился умный, тонкий, так много понимавший Глеб Сергеевич Семенов, впервые услышавший чтение Иосифа.

(Могу засвидетельствовать, что вскоре у них установились самые добрые отношения, мы вместе навещали Глеба Сергеевича, когда он захворал. Иосиф читал стихи, а хозяин

их хвалил. Эпизод на турнире Глеб Сергеевич очень не любил потом вспоминать, а когда я однажды напомнил ему о нем, он расстроился. И сейчас я пишу об этом отнюдь не для того, чтобы укорить память этого достойнейшего и незаурядного человека, талантливого поэта с драматической литературной судьбой.)

Однако вернемся на турнир. Иосиф за стихом в карман не лез и в ответ на возмущение своих немногочисленных оппонентов — большинство зала приняло его прекрасно — прочитал стихи с эпиграфом «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»:

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность — богам.
Бренность — удел
быков...

И заканчивались эти стихи:

Юродствуй,
воруй,
молись!
Будь одинок,
как перст!..
... Словно быкам —
хлыст,
Вечен богам
крест.

Это уже было присутствующими работниками обкома партии и обкома комсомола воспринято как непереносимый вызов, и «курировавшая» турнир от Союза писателей бедная Наталья Иосифовна Грудинина, которая через несколько лет будет, можно сказать, головой рискуя, защищать Бродского, вынуждена была от имени жюри выступление Иосифа осудить и объявить его как бы не имевшим места... Ну, с теми, кто стоял за жюри, все понятно, но Глеб Семенов?... И тут, однако, нет большой загадки. Высокий поэт, в своей многострадальной жизни приучивший себя к гордой

замкнутости, к молчаливому противостоянию, Глеб Сергеевич оскорбился тем откровенным и, можно сказать, наивным бунтарством, которое излучал Иосиф, возмущился свободой, казавшейся незаслуженной и не обеспеченной дарованиями. Последнее заблуждение, впрочем, рассеялось очень скоро.

Я рассказываю все это не ради мемуаристского удовольствия. Мне важно показать людям сегодняшнего дня, какая атмосфера окружала Бродского и какое впечатление он производил на людей вообще и на власть имущих в особенности. Повторяю — в условиях несвободы, с которой смирилось большинство, свободный человек, даже не посягающий ни на какие устои, все равно воспринимается как мятежник.

А Бродский и был мятежником — не в вульгарно-политическом, но в куда более высоком смысле. Он постоянно в те времена обвинял меня в конформизме — не в общественном, тут у нас не было разногласий, но в философском, экзистенциальном. «Это морская пехота научила тебя не лезть на рожон», — сказал он мне вечером 2 декабря 1958 года в квартире нашей общей приятельницы Елены Валихан, в том самом доме с темно-синим фасадом, который фигурирует в его знаменитых и тогда и теперь «Стансах»: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать...»

Я не служил в морской пехоте, но в первый год службы был курсантом полковой школы отдельного стрелкового полка, где нас, действительно, обучали по весьма суровой программе. Морская пехота возникла в сознании Иосифа, очевидно, по двум причинам. Во-первых, наш полк стоял на побережье Тихого океана, на Татарском проливе, в районе знаменитого Ванинского порта — о чем я Иосифу рассказывал и писал стихи, Иосифу известные. А во-вторых, нам с ним нравился — не помню откуда взявшийся — американский вербовочный плакат с изображением бравого морского пехотинца и энергичной надписью: «Морская пехота сделает из тебя человека!».

Иосиф вообще был неравнодушен к армейской атрибутике. Одно время я носил защитного цвета куртку с погончиками. Когда я приходил к Иосифу, то, открывая мне дверь, он неизменно провозглашал: «Здравия желаю, мой капитан!» Он и сам охотно фотографировался в военной форме. Это, конечно, были столь популярные в те времена хемингуэевские мотивы...

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru